**Методология исследования политической традиции в России**

Западная историография единодушно настаивает на неевропейском характере русской политической традиции. Например, Карл Виттфогель, британский историк Тибор Самуэли вслед за Марксом утверждали, что эта традиция по природе татарская. Этому сопротивлялся Тойнби, уверенный в ее византийском происхождении. Ричард Пайпс вообще полагает ее эллинистической, "патримониальной".

Советские историки столь же единодушно, хотя и не очень убедительно, настаивали на европейском характере русской политической традиции. Противоположность обеих позиций представлялась очевидной, но за этой очевидностью скрывалась их глубинная общность. И те и другие были убеждены, что у России должна быть непременно какая-то одна политическая традиция, будь то европейская или восточно-деспотическая. За неимением лучшего слова я назвал бы это Парадигмой. Она очевидно противоречит всем фактом русской истории, в которой, как две души в душе одной, живут и беспрерывно, с самого начала государственного существования России (и даже в догосударственную эпоху) борются между собой элементы обеих традиций.

Петр Струве писал в 1918 году, в сборнике "Из глубины", что истоки российской трагедии восходят к событиям 25 февраля 1730 года, когда Анна Иоанновна на глазах у потрясенного шляхетства разорвала "Кондиции" Верховного Тайного Совета (по сути конституцию послепетровской России). Струве и прав и неправ. Прав он в том, что между 19 января и 25 февраля 1730 года Москва действительно оказалась в преддверии решающей политической революции. Послепетровское поколение культурной элиты России, повернулось, подобно декабристам, против самодержавия. "Русские, - доносил из Москвы французский резидент Маньян, - опасаются... самовластного управления, которое может повторяться до тех пор, пока русские государи будут столь неограниченны [и] вследствие этого они хотят уничтожить самодержавие" (Д.А.Корсаков. "Воцарение Анны Иоанновны", Казань, 1880, с. 90.). Подтверждает это и испанский посол герцог де Лирия: русские намерены, пишет он, "считать царицу лицом, которому они отдают корону как бы на хранение, чтобы в продолжение ее жизни составить свой план управления на будущее время... твердо решившись на это, они имеют три идеи об управлении, в которых еще не согласились: первая - следовать примеру Англии, где король ничего не может делать без парламента, вторая - взять пример с управления Польши, имея выборного монарха, руки которого были бы связаны республикой, и третья - учредить республику по всей форме, без монарха. какой из этих трех идей они будут следовать, еще неизвестно" (Там же, с. 91 - 92.).

На самом деле не три, а тринадцать конституционных проектов циркулировали в том роковом месяце в московском обществе. Здесь-то и заключалась беда этого по сути декабристского поколения, вышедшего на политическую арену за столетие до декабризма. Эти люди не доверяли друг другу, не смогли договориться. Заметим, что у декабристов конституционных проектов тоже было три и противоречия между ними опять-таки оказались непримиримыми. Занимает меня это неожиданное и почти невероятное явление либерального, антисамодержавного поколения в стране, едва очнувшейся от смертельного сна деспотизма.

Оказывается, что драма декабризма - конфронтация имперского Скалозуба с блестящим, европейски образованным поколением Чацких, единодушно настроенным против самодержавия, против крепостничества, против империи - вовсе не случайный, нечаянный, изолированный эпизод русской истории. Струве не копнул глубже. У послепетровских шляхтичей тоже было целое поколение предшественников. Слов нет, они куда менее блестящи и образованны. Их было легче обмануть, им было труднее договориться. Но поколение допетровских, боярских, если хотите, конституционалистов существовало в России еще за столетие до шляхетских. Оно-то откуда, спрашивается, взялось?

Профессор Пайпс говорил, что российский конституционализм действительно начинается с послепетровских шляхтичей. И происхождение его очевидно: Петр прорубил окно в Европу - вот и хлынули в эту патримониальную державу европейские идеи. Но как, - спросил его я, - объясните вы в этом случае конституцию Михаила Салтыкова, принятую и одобренную Боярской думой в 1610 году, то есть во времена, когда конституционной монархией еще и в Европе не пахло? Откуда, по вашему, заимствовали эту идею российские реформаторы в такую глухую и безнадежную для европейского либерализма пору?

Оказалось, что профессор Пайпс, автор "России при старом режиме", не знал, о чем я говорю. Между тем, конституция 4 февраля 1610 года - "это целый основной закон конституционной монархии, устанавливающий как устройство верховной власти, так и основные права подданных" (В.О.Ключевский. "Курс русской истории", М., 1937, с. 44.). Даже Борис Чичерин, ядовитый критик русской политической мысли, вынужден был признать: документ "содержит в себе значительные ограничения царской власти; если б он был приведен в исполнение, русское государство приняло бы совсем другой вид" (Б.Н.Чичерин. "О народном представительстве", М., 1899, с. 543.).

Одного этого факта достаточно, наверное, чтобы опровергнуть "национальный канон", на который при всей его очевидной архаичности опирается тем не менее практически вся современная историография России. Канон этот решительно неспособен объяснить такой неожиданный политический прорыв, явившийся вдруг в непроглядной мгле восточной деспотии. Ничем, кроме древнего, устоявшегося в России симбиоза европейской и деспотической традиций, объяснить его невозможно.

В 1908 году Струве со своей статьей "Великая Россия" был застрельщиком всей этой эпопеи, которая вела к мировой войне. Он, как и его поколение славянофильствующей российской интеллигенции, был уверен, что всё либеральное, конституционное, парламентарное, гражданское привнесено в Россию из Европы, ЗАИМСТВОВАНО через петровское "окно". До Петра Россия лежала бесплодной политической пустыней или во всяком случае нераспаханной целиной. Даже такой сильный и независимый мыслитель, как Федотов, который уж наверняка был на две головы выше Струве, называл Московскую Русь "бессловесной". "Она похожа, - писал Федотов, - на немую девочку, которая так много тайн видит своими неземными глазами и может поведать о них только знаками. А ее долго считали дурочкой только потому, что она бессловесна... Лишь благодаря Западу Россия могла выговорить свое слово. В своей московской традиции она не могла найти тех элементов духа (Логоса), без которых все творческие богатства останутся заколдованной грезой" (Г.П.Федотов. Спб, 1991-1992, т. 1, с. 76; т. 2, с. 231.).

На таких (или подобных) идеях выросли последекабристские поколения русской интеллигенции. Именно их и передали они, как эстафету, уже после катастрофы, в эмиграции - молодым тогда западным историкам России. Не знаю, как было с другими, но в случае Пайпса или братьев Рязановских, например, это несомненно. Вот почему не было, не могло быть для них в допетровской России никаких конституций, никаких политических прорывов. Они их не ожидали, не искали и, соответственно, не находили, работая на антикварный "национальный канон", на Парадигму. Как объяснить иначе, что даже в указателе "Русской истории" Николая Рязановского, ученого редчайшей тщательности и объективности (на его учебнике по русской истории воспитывались поколения американских студентов), можно найти даже какого-нибудь Сипягина, но не автора первой русской конституции? Он этого тоже не знает. Я был этому свидетелем, так как работал с ним вместе семь лет на одной кафедре.

Всё, что мы покуда видели, были лишь либеральные всполохи, можно сказать, конституционные протуберанцы, неожиданно и со странной регулярностью вырывавшиеся из темной толщи автократической истории в первой четверти каждого из трех столетий - XVII, XVIII и XIX. Конечно, это серьезные признаки, что европейская традиция жила в России - и в петербургские и в московские времена. Но все-таки не более, чем признаки. Чтобы добраться до истоков этой сложной двухкорневой структуры политической традиции, надо, следуя завету Федотова, копать глубже, идти действительно до корней - к началу государственного существования России. Самые драгоценные "клады" должны быть зарыты именно там.

Парадигма гласит, что вышла Москва из-под ига Золотой Орды, в котором изнемогала на протяжении столетий, преемницей этой орды, свирепым "гарнизонным" государством, военной деспотией (Л.Гумилев, евразийцы, Дугин). Или, как выражается на своем туманном политическом жаргоне К.Виттфогель, "одноцентровым... полумаргинальным деспотизмом" (Donald W. Treadgold, ed. "The Development of the USSR". Seattle, 1964, p. 353.). Факты, однако, это полностью опровергают. Москва вышла из-под ига обыкновенной, нормальной североевропейской страной, такой же как Швеция, Дания или Англия, причем во многих отношениях куда более прогрессивной, нежели ее западные соседи. Во всяком случае, эта наследница Золотой Орды" первой в Европе поставила на повестку дня текущей политики самый судьбоносный вопрос позднего средневековья - церковную Реформацию. Религиозная и политическая терпимость была в ней в полном цвету. И цвела она столь пышно, что, по крайней мере, на протяжении одного поколения между 1480 и 1500 годами можно было даже говорить о "Московских Афинах" (это мое выражение). В царствование основателя московского государства Ивана (Великого) III на Руси и в помине не было казенного монолога власти перед безмолвствующим народом. Был диалог, была идейная схватка - бурная, открытая и яростная.

Совместима ли эта картина начала русской государственности с Парадигмой? Пропасть между ними, книгу надо написать, чтобы хоть как-то ее заполнить. Ирония заключается в том, что я уже написал эту книгу.

Вот лишь одна цитата из письма Иосифа Волоцкого, лидера российских контрреформаторов в первом их поколении, по имени которого они, собственно, и были названы иосифлянами. "С того времени, - писал Иосиф, - когда солнце православия воссияло в земле нашей, у нас никогда не бывало такой ереси - в домах, на дорогах, на рынке все, иноки и миряне, с сомнением рассуждают о вере, основываясь не на учении пророков, апостолов и святых отцов, а на словах еретиков, отступников христианства, с ними дружатся, учатся у них жидовству. А от митрополита [высший в те времена пост московской церковной иерархии, эквивалент сегодняшнего патриарха] еретики не выходят из дому, даже спят у него" (Цит. по С.М.Соловьев. "История России с древнейших времен", М., 1960. кн. III, с. 190.). Как горячи, как массовы были тогда московские споры - "в домах, на дорогах, на рынках". Похоже это на безгласную пустыню восточного деспотизма?

Нет сомнения, что великий князь, как и его коллеги в других североевропейских странах, покровительствовал еретикам и протестантам. Всем им одинаково нужно было отнять земли у монастырей. Разница только в том, что одни отняли, а другие нет. В этом - в секуляризации церковных имуществ - для них и состояла суть церковной Реформации. Но в отличие от своих царственных коллег на Западе, Иван III не преследовал и своих диссидентов-контрреформаторов! Соратник Иосифа, неистовый Геннадий, архиепископ Новгородский, своей волей инкорпорировал в церковную службу анафему на "обидящие святыя церкви". Все отлично понимали, что именно великого князя кляли с новгородских амвонов священники. И - ничего, не разжаловали Геннадия, даже анафему не запретили.

В 1480-е единомышленники Иосифа опубликовали трактат, известный в литературе как "Слово кратко в защиту монастырских имуществ". Авторы "Слова" открыто поносят царей, которые "закон порушите возможеть". И трактат не был запрещен к распространению, и ни один волос не упал с головы его авторов. Короче, страна жила, спорила, отчаивалась, бурлила идеями. Похожи эти Московские Афины на федотовскую "бессловесность"? Или на "одноцентровый деспотизм" Виттфогеля?

Конечно, срок их был отмерен. Уже два поколения спустя иностранные наблюдатели будут ужасаться азиатскому безмолвию Москвы. Но именно поэтому важно помнить, что начинала она не так. Что первые ее поколения умели жить по-европейски. Достаточно ведь просто послушать великих протестантов этих поколений России - Нила Сорского, Вассиана Патрикеева, Максима Грека, чтоб не осталось сомнений, откуда взялись в ней столетия спустя и конституция Салтыкова, и поколение шляхетских конституционалистов, и декабристское, и даже диссидентское поколение "шестидесятников", которому мы сами были свидетелями. Здесь семя, из которого все они выросли.

Есть, конечно, и масса косвенных доказательств, что Парадигма лжет, что ничего похожего на "гарнизонное государство", как выражается Тибор Самуэли, не явилось в Москве на смену татарскому игу. В книге я их привожу, а сегодня остановлюсь лишь на одном. Велик ли, скажите, шанс, чтобы стремились в "гарнизонное государство" люди из более благополучных и менее милитаризованных мест? Мыслимо ли, допустим, представить себе массовую эмиграцию из Западной Европы в советскую империю? Бежали, как мы знаем, из нее, даже рискуя жизнью.

Показательна и позиция правительства в вопросах эмиграции. Невозможно себе представить, чтоб, например, брежневская администрация выступала с громогласными заявлениями, защищая право своих граждан на свободный выезд. Просто не ведет так себя государство, из которого бегут. Напротив, объявляет оно эмигрантов изменниками родины и помощь им рассматривает как вмешательство в свои внутренние дела.

Как обстояло с этим дело в европейское столетие России, о котором мы ведем речь? Западная соседка Литва была в конце XV века на вершине своего могущества. И вольности литовских бояр не шли тогда ни в какое сравнение с устойчивым, но все-таки скромным положением московской аристократии. Были у Литвы и свои неприятности, но во всяком случае назвать ее "гарнизонным государством" даже у Самуэли язык бы не повернулся. Но бежали-то тем не менее из нее. В Москву.

Кто требовал наказания эмигрантов-"отъездчиков", кто - совсем как брежневское правительство - называл их изменниками, "зрадцами", кто угрозами и мольбами добивался юридического оформления незаконности "отъезда"? Литовцы. А кто защищал гражданские права и, в частности, право человека выбирать себе отечество? Москвичи.

Цвет русских фамилий, князья Воротынские, Вяземские, Одоевские, Бельские, Перемышльские, Новосильские, Глинские, Мезецкие - имя им легион - это всё удачливые беглецы из Литвы. Были и неудачливые. В 1482 году, например, большие литовские бояре Ольшанский, Оленкович и Бельский собирались "отсести" на Москву. Король успел: "Ольшанского стял да Оленковича", убежал один Бельский. Удивительно ли, что так был зол литовский властелин на "зраду" (измену)? В 1496 году он горько жаловался Ивану III: "Князья Вяземские и Мезецкие наши были слуги, а зрадивши нас присяги свои, и втекли до твоей земли, как то лихие люди, а ко мне бы втекли, от нас не того бы заслужили, как тои зрадцы" (М.А.Дьяконов. "Власть московских государей", СПб, 1889, с. 187 - 188.) Королевская душа жаждала мести. Я бы, грозился он, головы поснимал твоим "зрадцам", если б "втекли" они ко мне. Но в том-то беда его и была, что не к нему они "втекали".

А московское правительство, напротив, изощрялось тогда в подыскании оправдательных аргументов для королевских "зрадцев", оно их приветствовало и ласкало, королю не выдавало и никакой измены в побеге не усматривало.

Как твердо стояла тогда Москва за гражданские права! И как точно их понимала: раз беглец не сбежал от уголовного преследования, он для нее политический эмигрант, а не изменник. Принципиально и даже с большим либеральным пафосом настаивала Москва на праве личного политического выбора. Разумеется, Москва лицемерила. Разумеется, оба правительства были в равной мере жестоки. Средневековье оно средневековье и есть. Но у нас то речь о другом. О том, чего никогда не сможет объяснить Парадигма. О том, что магнитными свойствами, притягивавшими к себе людей из других, вполне благополучных западных земель, обладала тогда именно Москва. Что бежали с Запада в нее, а не наоборот.

Конечно, могут сказать, что просто православные бежали с католического Запада в православную Москву. Но как тогда объяснить то, что, едва, свершилась в Росси самодержавная революция Ивана Грозного, стрелка миграции тотчас повернулась на 180 градусов и те же православные потекли вдруг из Москвы на католический Запад?

Всё переменилось словно по волшебству, во мгновение ока. Теперь уже Вильно видит в беглецах из Москвы не "зрадцев", а вполне почтенных политических эмигрантов, а Москва, напротив, кипит злобой, объявляя их изменниками. Теперь уже она провозглашает, что "во всей вселенной, кто беглеца приймает, тот с ним вместе неправ живет". А король, преисполнившись вдруг либерализма и гуманности, снисходительно разъясняет Грозному царю, что "таковых людей, которые отчизны оставили, от зловоленья и кровопролитья горла свои уносят", пожалеть нужно, а не выдавать деспоту. И вообще, оказывается, выдавать политических эмигрантов, "кого Бог от смерти внесет", недостойно христианского государя...

Что же такое непоправимое случилось вдруг в середине XVI века в Москве? Что внезапно перевернуло с ног на голову культурную и политическую традицию, которую мы только что описали? Да то же, примерно, что в 1917 году. Революция. Гражданская война. Беспощадное уничтожение накопленного за столетия интеллектуального потенциала страны. Конец ее европейской эры. Установление "гарнизонного государства". Цивилизационная катастрофа. С той лишь разницей, что та, первая катастрофа была еще страшнее большевистской. В ней при свете пожарищ гражданской войны и в кровавом терроре самодержавной революции рождалась империя и навсегда, казалось, гибла досамодержавная, доимперская, докрепостническая - европейская Россия.

Естественно, что, как и в 1917 году, новая империя нуждалась в новой идеологии. В результате и явились на свет мечты о "сверхдержавности", о "мессианском величии и призвании", о "першей государственности", как тогда говорили. Те самые мечты, что так очаровали столетия спустя Достоевского и Бердяева и продолжают казаться неотъемлемой частью российского менталитета Александру Панарину и его единомышленникам.

Ирония истории заключалась, однако, в том, что даже террор опричной революции 1565 года, так же, как и красный террор семнадцатого, оказался не в состоянии доконать европейскую традицию. Опять и опять, как мы видели, поднимала она голову в конституционных поколениях XVII, XVIII, XIX, и, наконец, XX столетия. Говоря о европейской традиции в России, говорим мы не о чем-то случайном, эфемерном, невесть откуда в нее залетевшем, а напротив, о корневом, органическом, о чем-то, что даже в огне тотального террора не сгорело, что в принципе не могло сгореть, пока существует русский народ. Не могло, потому что вопреки Парадигме Европа - внутри России.

**Список литературы**

Александр Львович Янов. **Методология исследования политической традиции в России.**